
ТАЙНИКОВСКИЙ
БЮРО НЕВОЗМОЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ДОСТАВИТЬ В НИКУДА

Тайниковский Тайниковский

Доставить в никуда

Серия «Бюро невозможных поручений», книга 2

https://litres.ru/74709603
SelfPub; 2026

Аннотация

Гельта нет. Его вычеркнули из королевских реестров, убрали с карт и объявили несуществующим. Но по ночам за невидимой границей всё ещё горят огни — и кто-то ждёт посылку.

Рик Вельд берётся доставить в Гельт запертую шкатулку. Вскрывать её нельзя. Опоздать — тоже. А проводник, переписчик Виллем Тарн, уверяет, что сам написал странную записку, которую не помнит, и восемнадцать лет хранит чужую тайну.

За белыми столбами не действует коронный закон. Там есть город, которому отказали в праве существовать, и люди, которым всё ещё нужно жить, спорить и выбирать, кому доверить будущее. Чтобы вручить посылку, Бюро невозможных поручений придётся выяснить, что именно спрятано в шкатулке и какую цену заплатит тот, кто её откроет.

«Доставить в никуда» — история о невозможном поручении, упрямом городе и тайнах, которые однажды требуют ответа.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 27
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Тайниковский
Доставить в никуда

Глава 1

Он не сел.

— С вашего позволения, я постою, — произнес он. — Я шёл восемнадцать дней. Если сяду, вам придётся меня поднимать, а у вас, я вижу, на четверых три здоровые руки.

Он сосчитал верно. У Бора левая лежала в лубке, у меня правая была замотана тряпицей до запястья. Никс держал веник, но веник он уже прислонил к стене.

Человек был стар той старостью, которая начинается не с седины, а с плеч. Лет под шестьдесят. Сутулый, узкий, с длинным лицом и очень чистыми руками. Плащ промок, сапоги были в глине по самые ушки, и глина эта была красная. У нас такой нет: в Ортене она серая, по Сойме жёлтая. А руки он где-то отмыл, до розовых костяшек, и ногти остриг коротко и ровно, как стригут те, кто боится посадить кляксу.

— Имя, — сказал я.

— Тарн. Виллем Тарн. Переписчик купчих и закладных, Третий плёс, Мучной ряд, дом вдовы Хаас, вход со двора.

Он диктовал. Не называл себя, а диктовал, с остановкой после каждой запятой, чтобы успели записать. Я записал.

— Кто вас прислал?

— Я уже ответил: написали.

— Покажите.

Он расстегнул плащ. Под плащом оказался сюртук, чёрный, вытертый на локтях до блеска, и на шее, на сером шнурке, два ключа: побольше, с тесской бородкой, и совсем маленький, медный, какими запирают детские копилки. Записку он достал не из шкатулки. Из нагрудного кармана, из клеёнчатого бумажника, где она лежала между двумя чистыми листами, как лежит засушенный цветок.

— Вынул сегодня утром, — произнес он. — С вашего позволения, руками её лучше не мять. Я не знаю, что это такое, и предпочёл бы, чтобы она дожила до того, кто знает.

Листок был в четверть обычного, желтоватый, плотный, с обрезанным краем: такой бумагой в конторах прокладывают книги, чтобы не отпечатывались чернила. На нём стояли три строки. Буквы мелкие, прямые, каждая отдельно от соседней, будто писавший не доверял связкам.

«На Старых Весах, двенадцать-бис, берутся за невозможное. Отнеси им. Сам не дойдёшь».

Подписи не было.

— Почерк узнаёте? — спросил я.

— Узнаю.

— Чей?

— Мой.

За моей спиной скрипнула половица: Адель подошла бли-

же.

— Вы это написали?

— Нет. Я этого не писал, — он смотрел на листок с тем выражением, с каким смотрят на собственную подпись под чужим долгом. — Я сорок лет пишу каждый день и знаю свою руку, как мельник знает свой жёрнов. Это моё «д» с коротким хвостом. Моё «ж», я его вывожу в три приёма — так меня учили. Бумага из моего бумажника: вот, здесь не хватает листа, край совпадает. Чернил у меня при себе не было. Чернильница осталась в Плёсе. И вчера вечером, когда я запирал шкатулку, записки в ней не лежало. Я заглядываю в неё каждый вечер. Восемнадцать лет.

— А ключ?

— На мне. Я сплю на спине.

Никс за моим плечом коротко выдохнул носом. Я знал, что он думает: человека, который спит на спине с ключом на шее, обнести легче лёгкого, и сделать это может любой, кто три года проходил в учениках у Щегла. Никс оказался в этом доме три недели назад именно таким способом.

— Где ночевали?

— «Под Третьей». На Арочной площади, в самом углу, за хлебным рядом. Четыре петли за койку. Комната на одного, окно во двор, дверь на засове, засов я проверил.

— Почему там?

— Дёшево. И от заставы близко, а я, как уже имел честь доложить, шёл восемнадцать дней.

«Под Третьей» я знал. Дом старше площади: нижний этаж сложен из тёмных блоков, без раствора, и пол в погребе, говорят, тот же, что под аркой. Хозяин гордится и берёт за это лишнюю петлю с приезжих.

Адель уже надела очки. Левое стекло у неё пересекала трещина, от оправы к оправе, и смотрела она поэтому чуть боком, по-птичьи.

— Дайте сюда. Я не помню.

Она взяла листок за края, двумя пальцами, поднесла к окну. Повернула. Провела ногтем по сгибу и показала мне ладонь.

Три крупинки. Серые, круглые, как маковое зерно.

Я не стал спрашивать. В кабинете у неё, на чёрном стекле, три недели лежали десять таких же: с письма, которое покойный землемер не мог написать, потому что ему нечем было держать карандаш. И в том письме тоже была строчка про наш дом. И её тоже писал не он.

«А потом — что принесут. К вывеске. Сам не ищи».

Принесли. На второй день. Я даже вывеску покрасить не успел.

— Игла, — сказал я.

— Сейчас, — она достала из кармана трубку, подержала над листком. Игла висела ровно, как отвес. — Ничего. Как тогда. Меры в этом нет ни щепоти.

— Госпожа — исчислитель? — спросил Тарн.

— Бывший адъюнкт. Рейн. Совладелица.

— Тогда, с вашего позволения, один вопрос. Это можно подделать? Почерк. Расчётом, солью, чем угодно, чем вы там пользуетесь.

— Расчётом можно снять копию с готового. Написать новое чужой рукой нельзя: контуру неоткуда взять нажим. Вышло бы ровно, как гравюра. А здесь у вас «т» с нажимом, а «о» без, — она вернула ему листок. — Это писала рука. Или то, что работает как рука.

— Благодарю. Я опасался именно этого ответа.

Он убрал записку обратно между чистыми листами, застегнул бумажник, застегнул сюртук. Пальцы у него не дрожали. Дрожало колено, левое, под мокрым плащом, мелко и часто: так дрожит нога у лошади, которую перегнали.

— Никс. Стул.

— Он сказал, что постоит.

— Стул. И хлеба. И что там осталось от Мартиного.

— От Мартиного осталась корка, я её…

— Никс.

Он принёс стул. Человек по имени Виллем Тарн посмотрел на стул, на меня, сказал: «Под вашу ответственность» — и сел. Сделал он это так, как складывают плотницкую мерку: в три приёма.

* * *

Шкатулка стояла на краю моего стола, на книге расходов.

В длину она была с локоть без ладони, в ширину вдвое меньше. Дуб, морёный дочерна, по рёбрам окован железной

полосой, полоса на заклёпках. Замок врезной, скважина под бородку в два зуба. Ручки нет. На крышке вытерто светлое пятно, с ладонь: тут её брали восемнадцать лет, каждый раз одинаково.

— Что в ней? — спросил я.

— Этого я вам не скажу.

— Тогда вы зря садились.

— Позвольте, я изложу, а вы решите, зря или нет, — он положил руки на колени, одну на другую. — Мне нужно, чтобы эта шкатулка была доставлена в город Гельт и вручена там городскому голове. В собственные руки. Запертой, как сейчас. Не позднее шестого числа Двенадцатого месяца, до закрытия весовой.

Позади меня что-то стукнуло об пол. Веник всё-таки упал.

— Гельта нет, — сказал Никс.

Он сказал это без вызова, как говорят «на улице дождь». Тарн повернул голову и посмотрел на него в первый раз: до этого Никс был для него тем, кто принёс стул.

— Совершенно верно, молодой человек. Города Гельта нет в Королевском реестре с шестого числа Двенадцатого месяца тысяча восемьдесят шестого года. Его нет на картах коронной печати с издания восемьдесят седьмого. Соляной тракт в подорожных кончается у Затонов. Почта на это имя не принимается. Мостов через Белую нет, я проверил лично. — Он помолчал. — Именно поэтому я здесь, а не на почте.

— А люди?

— Люди есть.

— Откуда знаете?

— Дым, — ответил Тарн. — С последнего холма перед Чертой в ясную погоду виден дым. Много. Варницы работают.

Никс поднял веник, поставил в угол и остался там стоять, засунув руки в карманы. Он ничего не добавил. Я отметил это: за три недели, что я его знал, Никс ни разу не упустил случая что-нибудь добавить.

— Вы там были, — произнес я. — У этой Черты.

— Девятого числа этого месяца. Я вышел из Плёса двадцать четвёртого Девятого, почтовой фурой до Ладеня, дальше с обозом, дальше пешком. Тракт за Затонами не чинят, но он есть. На шестой версте за последней варницей стоят вехи. Белые столбы, в рост, через каждые двадцать шагов, вправо и влево, сколько видит глаз. Между ними натянуто то, чего не видно. Я переступил.

— И?

— И через четверть колокола ко мне подъехали трое верховых в сером, с жёлтым кантом. Очень вежливые. Спросили подорожную. Спросили, знаю ли я, что нахожусь в месте, которого не существует, и что по этой причине на меня не распространяется защита коронного закона. Я ответил, что знаю, я сам его переписывал. Тогда они перестали быть вежливыми.

Он отогнул манжету. На запястье, там, где у писаря чер-

нильная мозоль, тянулся жёлто-зелёный след, старый, трёхнедельный: его держали за руки, и держали крепко.

— Шкатулку не тронули?

— Шкатулки при мне не было. Я не настолько глуп. Я оставил её у возчика в последней варнице и пошёл пустой: посмотреть, пропустят ли. Не пропустили, — он вернул манжету на место и застегнул пуговицу. — Меня довезли до Затонов поперёк седла и там отпустили, поскольку задерживать меня было не за что: по их же бумагам я ходил в никуда. Начальник кордона был настолько любезен, что объяснил мне это сам.

— А обратно почему в Ортен? Плёс ближе.

Тарн ответил не сразу.

— Я шёл её сдавать. В Весовую палату, в реестровый стол. Я рассудил, что если не могу довезти, то пусть хотя бы лежит там, откуда взята. Вчера вечером я был в этом твёрдо уверен. Я даже написал сопроводительное, — он потрогал нагрудный карман. — А утром нашёл в ней то, что вы видели.

— И поверили записке, которую сами не писали.

— Я поверил почерку, господин Вельд. Это единственный почерк, которому я верю, и то, как выяснилось, зря.

Бор у камина пошевелился. Он сидел на своём месте, боком к огню, держа лубок на колене, и смотрел на клиента. Он смотрел на него с той самой минуты, как звякнул колокольчик, и за всё время не сказал ни слова. Обычно к этой минуте он уже успевал сообщить мне, чем человек зарабатывает,

сколько лет женат и за что его били. Сейчас он молчал, и мне это не нравилось.

— Вернёмся к шкатулке, — сказал я. — У нас есть правила. Вон они, у двери.

— Я прочёл. Восемь пунктов, два почерка. Второй почерк ставит запятые щедрее, чем следует, но в восьмом, как ни странно, всё верно.

— Седьмое.

— «Чего не знаем — так и говорим».

— Так вот, я не знаю, что повезу. Я не знаю, горит оно, течёт или кусается. Я не знаю, сколько за него дают в Затонах и на сколько лет. А вы предлагаете мне нести это через кордон, где, по вашим же словам, коронный закон кончается за белым столбом.

— Не горит без посторонней помощи, — сказал Тарн. — Не течёт. Не кусается. Весит семь фунтов с четвертью; я взвешиваю её каждое утро. Сегодня было семь с четвертью и ещё волос: надо полагать, записка.

— Этого мало.

— Бумага и бронза, — он сказал это после паузы, и видно было, что отдаёт он эти два слова, как отдают последние две петли. — Внутри бумага и бронза, и ни то ни другое не моё. Это вещь городская. Я взял её на время. Время вышло восемнадцать лет назад.

— Краденое?

— Нет.

— Коронное?

— Нет. Хотя корона, полагаю, будет держаться иного мнения.

— Тогда почему не вскрывая?

— Потому что вскрыть её вправе один человек, и это не я и не вы. Я её запер в тот день, когда принял, и с тех пор открывал, только чтобы убедиться, что всё на месте. Я ничего оттуда не вынимал и ничего не вкладывал, — он запнулся. — Почти ничего. Если вы её вскроете, господин Вельд, то доставите уже не то, что я вам поручил. А мне нужно, чтобы она пришла такой, какой ушла.

Я посмотрел на Адель. Она стояла над шкатулкой с иглой и качала головой: ничего. Обычный дуб, обычное железо. Потом она нагнулась и понюхала замочную скважину, чем, по-моему, сильно удивила клиента.

— Сургуч, — произнесла она. — Старый. И соль, но не мерная. Простая, варочная. Ею пересыпали.

— От сырости, — сказал Тарн. — У нас так хранят всё, что должно пережить хозяина.

«У нас».

Он сам услышал. Колено под плащом дёрнулось и замерло.

— Вы из Гельта, — сказал я.

— Я родился в городе, которого нет, — ответил он ровно. — В подорожной у меня написано: Третий плёс. Написал я сам, почерк хороший, никто не усомнился.

Из шкафа в углу донеслось сопение, потом скрип, потом знакомый мягкий удар об пол. Плюх выпал, как выпадал всегда: боком, с недоумением. Встал, отряхнулся, оставив на половицах серое, и пошёл через приёмную, переваливаясь. Мимо Бора. Мимо скамьи. К моему столу.

У стола он сел, задрал голову и уставился на шкатулку.

Смотрел он, как обычно, чуть мимо. Но мимо в её сторону.

— Это что? — спросил Тарн.

— Инвентарь, — сказал я.

— Оно… — он подобрал ноги под стул. — Оно интересуется.

— Он всем интересуется, что закрыто.

Я снял шкатулку с книги расходов и переставил на верхнюю полку, к реестрам. Она и правда тянула фунтов на семь. Плюх проводил её глазами, чихнул и остался сидеть, глядя теперь на полку.

Мне это тоже не понравилось. Но у меня к этой минуте уже набралось довольно того, что мне не нравилось, и я решил считать по порядку.

* * *

— На два слова, — сказал я Адель.

В кабинете пахло пылью и холодным стеклом. Плюха на столе уже не было, осталась вмятина на тетради и серое на клеёнке. Адель положила три крупинки на чёрное стекло, рядом с прежними десятью, придвинула лампу, сняла очки

и надела снова.

— Те же, — произнесла она. — Круглые, окатанные, одного размера. И солёные. Я не буду пробовать на язык при клиенте, но я знаю, что солёные.

— Арочная площадь.

— Дом на старом камне. Запертая комната. Запертая шкатулка. Замкнутый объём в замкнутом объёме, и под полом та же кладка, что под аркой, — она загибала пальцы. — Бюро Эльзы Морн стояло у мельничной стены. Здесь то же самое, только стена подревнее. И записка та же: адрес и «берутся».

— И почерк хозяина.

— Да. Это мне интереснее всего. В тот раз мы решили, что три слова писал Морн, а строку про нас дописал кто-то другой. Но почерк был один, вдова не отличила. Теперь человек получает записку, написанную его же рукой, и клянётся, что не писал, — она постучала ногтем по клеёнке. — Я думаю, оно пишет рукой того, чья бумага.

— Оно?

— У меня нет другого слова. Пока нет. И ещё одно. Он сказал: «почти ничего».

— Кто?

— Клиент. «Я ничего оттуда не вынимал и ничего не вкладывал. Почти ничего». Он что-то туда положил, сам, уже после. И ему за это неловко.

— Ты это услышала?

— Я слушаю слова, Рик. Это ты слушаешь паузы.

— Гай пишет «Г» с перекладиной на полстроки. Я это «Г» узнаю в темноте.

— Значит, либо это не он, либо там, откуда он пишет, от почерка остаётся только чужой, — она посмотрела на меня боком, через целое стекло. — Тебе сказали: что принесут. Тебе не сказали, кто будет приносить.

Я молчал. Через дверь было слышно, как Никс гремит на кухне заслонкой и как Бор не говорит ничего.

— Ты хочешь отказать, — произнесла Адель.

— Я хочу посчитать. Кордон Соляной палаты. Город, которого нет, а значит, нет и закона, который там за нас заступится. Клиент, который не говорит, что везёт. Шесть недель дороги на четверых. И Никс.

— Что Никс?

— Он оттуда.

— Я знаю. Он сказал «Гельта нет» и поставил веник в угол. Он ни разу не ставил веник в угол: он его бросает, — она сняла очки, потёрла переносицу. — Рик. В кассе три арки. Штраф тридцать, до конца года. Вдова заплатит, когда заплатит «Якорь», а «Якорь» заплатит, когда сочтёт нужным. Это я считаю за тебя, потому что ты сейчас считаешь другое.

— Что я считаю?

— Ты переставил шкатулку на полку с реестрами. Не на подоконник и не обратно ему в руки. Ты её уже взял. Теперь ищешь, во что это обойдётся.

Спорить было не с чем. Я пошёл обратно.

* * *

Тарн доел корку от Мартиного пирога и сидел прямо, сложив руки, как сидят в приёмной у начальства. Крошки он собрал в ладонь и держал в кулаке: не знал, куда у нас принято.

— В камин, — сказал я. — Теперь цена.

Я показал на доску. Он прочёл её ещё от двери, шевеля губами. Я видел. Он вообще читал всё, что было написано в этой комнате: правила, столбцы, корешки реестров, клеймо литейщика на каминной решётке, даже «Крамп» на счёте от мясника, который я не успел убрать со стола. Другие, входя, оглядывают углы. Бор смотрит человеку на руки, Никс на карманы. Этот смотрел на буквы.

— Шесть столбцов. Обычное от пяти арок. Сложное от пятнадцати. Очень сложное от сорока. Опасное от восьмидесяти, половина вперёд и расходы вперёд. Шестой вас не касается.

— А пятый?

— Пятый называется «Безумное». Под ним за три месяца не висело ничего. Цена по соглашению.

— Назовите.

Я назвал не сразу. Я сложил: дорога до Затонов, девять дней возком, если не дожди. От Затонов до его белых столбов ещё день. Что за столбами, не знает никто из сидящих в этой комнате, считая клиента. Обратно столько же. Овёс, ночлег, мостовые, починка, лекарь. Четверо едоков шесть

недель. Соль для Адель, потому что пустой я её больше никуда не повезу. И отдельной строкой то, чего в расписку не вставишь: трое верховых в сером, которые перестают быть вежливыми.

— Сто арок, — сказал я. — Пятьдесят вперёд. Двадцать на расходы, тоже вперёд, с отчётом. Пятьдесят по вручении.

Никс в дверях кухни присвистнул. За сто арок в красильной слободе можно купить дом с колодцем.

Тарн не присвистнул. Он расстегнул сюртук, потом жилет. Под жилетом на нём был пояс, холщовый, простёганный поперёк, как стегают одеяла, и в каждой клетке лежало по монете. Он распарывал клетки ногтем, без спешки, и выкладывал арки на мой стол столбиками по десять. Выровнял. Семь столбиков.

— Семьдесят, — сказал он. — Всего на мне сто четыре: это то, что я отложил с восемьдесят седьмого года. Остальные тридцать четыре, с вашего позволения, пока поедут на мне. Шестнадцать я вам останусь должен по вручении и напишу в том обязательство.

Золото было разное. Старые арки короля Эдмара, тяжёлые, с толстым краем. Новые, эдриковские, потоньше. Две тесские, с кораблём. Он собирал их по одной. Пояс после этого повис на нём с левого бока пустой кишкой; с правого в нём ещё оставалось, и он застегнул жилет так, чтобы не было видно.

Я смотрел на семь столбиков и видел шестой гвоздь на

доске. Жёлтую записку, четвёртую сверху: «Всё, за что платят слишком легко».

— Вы не торгуетесь.

— Я сорок лет переписываю купчие, господин Вельд. Я знаю, чем кончается торг: обе стороны расходятся в уверенности, что их обманули. Мне нужно, чтобы вы были уверены в обратном. По меньшей мере до Затонов.

— А после?

— После вам будет не до того.

Бор кашлянул. Это был первый звук, который он издал за четверть колокола.

— Есть условие, — сказал Тарн. — Я еду с вами.

— Нет.

— Я знаю тракт за Затонами. Я знаю, где стоял мост и где брод, который в подорожных не значится. Я знаю город. И вручить должен я.

— Вам под шестьдесят, и вы сели на стул в три приёма.

— Пятьдесят восемь. И встану в четыре. Но я дошёл туда и обратно пешком, а ваш сержант, если я правильно читаю лубок, не сможет править лошадью ещё недели две.

Бор не шевельнулся. Но смотреть на клиента стал иначе: так он смотрел на Никса в тот день, когда Никс срезал у него кошелёк.

— Хорошо, — сказал я. — Едете. Кормитесь из расходов, расходы ваши. В договор это не пишу.

— Почему?

— Потому что в договоре будет слово «вручить». Вручает тот, кто дошёл. Отстанете, сляжете, вас снова повезут поперёк седла — мы пойдём дальше и вручим без вас. Мне платят за шкатулку. За вас мне не платят.

Он подумал. Колено у него уже не дрожало.

— Справедливо, — произнес он. — Неприятно, но справедливо. Пишите.

Я открыл реестр. Двести шестнадцать строк было над этой: двести двенадцать рукой брата, четыре моей. Счёт у него начинался с двойки. Я как-то спросил Адель, куда делся номер первый, и она ответила, что в описи имущества первой страницы не значится. Я обмакнул перо.

— Диктуйте. Дословно. Потом я прочту вам вслух, это третье правило.

Он продиктовал. Диктовал он лучше всех, кто когда-либо сидел на этом стуле: с запятыми. Я прочёл:

— «Номер двести восемнадцать. Доставить шкатулку заказчика, не вскрывая, в город Гельт и вручить городскому голове в собственные руки не позднее шестого числа Двенадцатого месяца сего года, до закрытия весовой».

— Чьей весовой? — спросила Адель.

Мы оба повернулись к ней.

— «До закрытия весовой». В Ортене книги закрывают в шестом колоколе. А там? Там бьют в колокол? Там вообще считают время, как мы?

— Гельтской, — ответил Тарн, помедлив. — В городе од-

на весовая, на Соляной площади. При мне закрывали в шестом. Что там теперь, я не имею сведений.

— Тогда впишите: «гельтской».

Я вписал. Три недели назад я бы сказал ей, что клиент не за тем пришёл, чтобы слушать про колокола. За эти три недели одно слово в одной формулировке стоило мне пяти часов жизни и ожога на ладони, и я вписал без разговоров.

— «Городскому голове», — произнес я. — Имя.

— Имени я не знаю.

— А прежнего?

— Прежнего звали Матиас Грёве. Его повесили в Затонах в Первом месяце восемьдесят седьмого года.

— Кто голова теперь?

— Не имею сведений. Восемнадцать лет оттуда не приходило ни письма, ни человека. Ко мне, во всяком случае.

Я оставил, как было: «городскому голове». Без имени.

Перо у меня повисло над страницей. Слов в строке было немного, и по меньшей мере три мне не нравились. «В город Гельт»: по закону такого места нет, а доставить в место, которого нет, значит не доставить никуда. «Городскому голове»: кому? «Вручить»: из рук в руки, а через порог у нас не дают даже соль. Каждое из трёх могло потом оказаться тем самым словом.

Но диктовал он, а не я. И золото лежало на столе ровно.

— Почему шестое? — спросил я. — Что будет седьмого?

— Седьмого будет распашка, — он произнёс это слово

так, как отец Ансгар произносил слово «недовес». — Устав о вычеркнутых местах, статья одиннадцатая. Место, изъятое из Реестра, числится спорным восемнадцать лет и один день: трижды шесть, как заведено. Если в этот срок голова предъявит коронному приставу то, чем место может доказать, что оно город, дело уходит в королевский суд. Если не предъявит, место распахивают. Земля отходит короне под соль, колодцы и варницы — Соляной палате, строения сносятся на вывоз.

— А жители?

— В уставе о распашке слово «жители» не встречается, — ответил Тарн. — Я проверял. Я прочёл его одиннадцать раз.

Никс стоял в дверях кухни и смотрел в пол.

— Подписывайте, — кивнул я на листок.

Он подписал. Буквы отдельно одна от другой, без росчерка: «В. Тарн». Я поставил свою. Адель свою, мелко, с наклоном.

Потом я написал расписку: семьдесят арок принято, пятьдесят в счёт платы, двадцать на расходы под отчёт. Он прочёл её дважды, попросил перо, поставил запятую после «принято» и только тогда сложил и убрал в клеёнчатый бумажник, к записке.

— Выезд третьего, на рассвете, — произнес я. — Мне нужно три дня. Купить соль. Починить совладелице очки. Найти возок и лошадей. Проверить вас, это второе правило. И покрасить вывеску.

— Вывеску?

— Я обещал.

Он не стал спрашивать, кому. Он поднялся: в четыре приёма, как и предупреждал, придерживаясь за край моего стола. Одёрнул сюртук. Поглядел на полку, где стояла шкатулка, и я понял, что он впервые за восемнадцать лет уйдёт куда-то без неё.

Бор тоже встал.

— Мэтр Тарн, — произнес он. — Вы меня не помните.

Тарн обернулся. Они стояли в трёх шагах друг от друга: один широкий, в лубке, с рассечённой и уже затянувшейся бровью, другой узкий, чёрный, с чистыми руками.

— Простите?

— Двенадцатый месяц восемьдесят шестого. Весовая палата. Чёрный ход, что на Рыбный переулок, — Бор говорил, как на докладе, не повышая голоса. — Снег шёл. Мне было тридцать, я стоял в наряде, вторым номером. Семерых из Гельта привели с площади через парадное, в цепях, чтобы народ видел. Шестерых вывели через парадное на подводу. А седьмого велели вывести чёрным ходом. Без цепей. И проводить до угла, чтобы не побили. У него была бумага с печатью и шапка в руке. Он эту шапку так и не надел, до самого угла.

В приёмной стало слышно, как тикает на втором этаже что-то, чему тикать было не положено: у нас нет часов.

— Вы дали мне рукавицу, — произнес Тарн.

— Одну. Вторая мне самому была нужна.

— Левую. Я её сохранил. Она лежит в Плёсе, в сундуке.

— Ну, — сказал Бор.

Он не сказал «бывает».

— Что было в бумаге? — спросил я.

Тарн смотрел не на меня. На Бора.

— Моя подпись, — произнес он. — Под показанием городского писаря города Гельта о том, что городской грамоты у означенного города не имеется и предъявить её означенный город не может. Писано пятого числа Двенадцатого месяца. Указ о вычёркивании вышел шестого, — он перевёл дыхание. — В указе есть ссылка на моё показание. Вторая строка сверху.

Семь столбиков стояли у меня на столе. Я их ещё не пересчитал.

Первое правило я выполнил: аванс вперёд. Второе за меня выполнил Бор, на четверть колокола позже, чем следовало. Так у нас и раньше выходило, но раньше между первым и вторым не успевала высохнуть подпись.

Никс вышел из кухонных дверей. Он шёл через приёмную не спеша, руки держал в карманах, и я видел, что карманы оттопырены кулаками. Остановился перед клиентом. Он был выше Тарна на полголовы и моложе на тридцать семь лет.

— Так это ты, — сказал Никс.

— Смотря что вы имеете в виду, молодой человек.

— Я из Гельта. Мне три года было. У меня ни имени в книге, ни фамилии, ни места, где я родился: я спрашивал в

храме, мне сказали, что родиться там нельзя, потому что там ничего нет. Меня нет. Нас таких в Ортене три сотни, и про каждого записано, что его нет, — он говорил тихо. Я ни разу не слышал, чтобы Никс говорил тихо. — Я всё думал: это же кто-то написал. Рукой. Сел и написал. Я думал, если узнаю кто…

Он не договорил.

— Тогда вы имеете в виду именно то, — спокойным и ровным голосом произнес Тарн.

Он не отступил. Он стоял, придерживаясь двумя пальцами за край моего стола, старый, сутулый, и смотрел на Никса снизу вверх.

— Расписку можете порвать, господин Вельд. Аванс я заберу, если вы так решите, и пойду в Весовую палату, как собирался вчера. Но прежде я попросил бы меня выслушать. Что именно я подписал. И что лежит в шкатулке. Это займёт меньше времени, чем вы все потратите на то, чтобы меня ненавидеть.

Решать было мне: я совладелец, моя подпись в реестре первая. Но бывают минуты, когда решает тот, у кого кулаки в карманах.

Никс вынул руки. Разжал. Потом повернулся, прошёл мимо меня и сел на скамью для клиентов. Он не садился на неё ни разу за три недели: говорил, что с неё слишком хорошо видно дверь и слишком плохо всё остальное.

— Говори, — сказал он. — Я восемнадцать лет не знал,

у кого спросить.

Глава 2

Рассказывал он стоя. Сесть второй раз отказался: сказал, что о таких вещах сидя говорят только те, кто их слушает.

— Осенью восемьдесят шестого Соляная палата назначила закупочную цену на гельтскую соль, — начал Тарн. — Треть от прежней. До того мы продавали кому хотели: Палате, Лиге, обозникам из Каррада. По грамоте. Грамоту дал городу король Эдвин Второй, в девятьсот сорок первом году, за то, что гельтские солевары в голодную зиму кормили столицу в долг. «Варить и продавать соль по своей цене, покуда стоит город». Одиннадцать строк, я знал их наизусть.

— Знал? — спросила Адель.

— Знаю,— он принял поправку без обиды. — Палата сочла, что грамота устарела. Мы сочли иначе. Варницы встали, обозы Палаты ушли пустыми. Тогда Палата закрыла тракт. Это назвали Соляным бунтом, хотя, с вашего позволения, никто никого не бил: мы просто не продавали.

Никс сидел на скамье, локти на коленях, и смотрел на его сапоги.

— Город решил идти к королю. Семеро. Голова, Матиас Грёве. Трое старшин от варниц. Двое от весовой. И писарь, потому что грамоту в дороге хранит писарь: так заведено, голова отвечает за город, а писарь за то, что о городе написано, — Тарн дотронулся до шнурка на шее. — Я вёз её в

этой шкатулке. Шкатулка моя, отцовская, в ней раньше лежали перья.

— Короля вы не увидели, — сказал Бор.

— Мы увидели приёмную Весовой палаты, сержант. Пришли двадцать восьмого Одиннадцатого, подали прошение, нам велели ждать. Ждали мы «Под Третьей», всемером в двух комнатах. Третьего числа за нами пришли, — он помолчал. — Я успел. У меня была привычка: в чужом месте я не держу важное в комнате. В погребе «Под Третьей» пол из старого камня, плиты лежат насухо. Одна у стены качалась. Я положил шкатулку под неё в первый же вечер и никому не сказал, даже голове.

— Под старый камень, — сказала Адель негромко. Мне, не ему.

— Нам предъявили бунт против коронной монополии. По этой статье семерым полагалась виселица, городу — солдаты. Две роты уже стояли в Затонах. Потом меня отвели отдельно. Со мной говорил человек из Палаты, молодой, лет тридцати, очень вежливый. Он объяснил, что есть другой способ. Тихий. Если у города нет грамоты, город не бунтовал: бунтовать может только тот, у кого есть права. Нет грамоты, значит, нет города. Есть место, где варят соль без дозволения. Такое место не берут штурмом. Его вычёркивают.

— И людей не тронут, — сказал я.

— Он сказал именно так. Слово в слово. «Людей не тронут. Их просто не станет в книгах». Шестерых не повесят, а

отправят в Затоны. Солдаты не войдут. От меня требовалось одно: показание городского писаря, что грамоты у города не имеется. Что она утрачена, или сгорела, или её не было. Он не настаивал на подробностях.

— А где она на самом деле, он не спросил?

— Спросил. Я ответил, что голова сжёг её перед отъездом, чтобы не досталась Палате. Грёве в это время сидел через стену и подтвердить не мог. Мне поверили: это было похоже на Грёве, — Тарн поглядел на свои руки. — Я подписал пятого. Шестого вышел указ. Меня вывели чёрным ходом, и сержант дал мне рукавицу.

— Грёве повесили, — произнес Бор.

— В Первом месяце. Мне об этом не сообщили. Я узнал через год, от возчика. Меня, как видите, обманули в одном пункте из трёх, и я до сих пор не решил, много это или мало.

Никс поднял голову.

— А в третьем?

— Простите?

— Три пункта. Шестерых не повесят: одного повесили. Солдаты не войдут: не вошли, встали кордоном. «Людей не тронут». Это третий. В нём тебя, значит, не обманули?

Тарн молчал довольно долго.

— Я переписчик, молодой человек. Я тогда думал, что книга — это книга, а человек — это человек, и что из первой можно вычеркнуть, не задев второго. Мне казалось, что не быть в Реестре лучше, чем не быть вовсе.

— Ну и как? Лучше?

— Не знаю. Я там не был восемнадцать лет.

— А я тут был, — Никс говорил всё так же тихо. — Я тебе расскажу, как это. Тебя не женят: в храме нет твоего первого веса, значит, не с чем сводить. Не хоронят с расчётом: придёт мерный отец, поглядит в книгу и уйдёт. В цех не берут, в стражу, на баржу, в ученики к приличному мастеру. Знаешь, куда берут? В артель. Там в книги не смотрят. Нас в Ортене три сотни, и половина ровесников ходит под Дядей Мхом, потому что больше ходить не под кем. Так что тронули. Не руками.

— Я это учту, — сказал Тарн.

— Чего?

— Я сказал, что учту. Я не умею отвечать иначе, когда мне сообщают верную цифру, которой я не знал.

Никс открыл рот и закрыл. По-моему, он ждал чего угодно: что старик станет оправдываться, или упадёт на колени, или огрызнётся. С любым из этих вариантов он бы знал, что делать.

— Почему вы не отвезли её назад? — спросила Адель. — Сразу. В восемьдесят седьмом. Вы знали про срок.

— Первый год я боялся кордона. Грёве был уже повешен, и я не сомневался, что на заставах лежит моя примета.

— А потом?

— Потом я боялся не кордона.

Он сказал это и замолчал, и было видно, что больше он

сегодня про это не скажет. Бор глянул на меня. Я понял: ему тоже показалось, что из всей речи это была первая фраза не под запись.

— Грамота и печать, — произнес я. — Бумага и бронза.

— Пергамент, если быть точным. И городская печать — матрица весом в фунт и три четверти. Без печати грамоту не предъявишь, без грамоты печать — просто бронза.

— И если голова покажет это приставу до шестого…

— Дело уходит в королевский суд. Суд может тянуться годы. Но пока он идёт, место числится спорным, а спорное не распахивают. И жители этого места тоже числятся спорными, а не несуществующими, — он посмотрел на Никса. — Это не много. Но это графа в книге, молодой человек. С неё можно начинать.

* * *

Тарна я отправил наверх, в кладовую: там стоял топчан, и окно выходило во двор. «Под Третьей» ему больше ночевать было нечего. Он не спорил, только спросил, где у нас умываются, и ушёл, держась за перила.

Мы остались вчетвером. Обрезок с номером двести восемнадцать лежал у меня на столе, не наколотый.

— По порядку, — сказал я. — Бор.

— Про рукавицу не врёт. Про чёрный ход не врёт. Руки писарские, плечи писарские, глина на сапогах с Соляного тракта, красная, я такую видел на обозниках. Били его недели три назад, не сильно: держали и трясли, — Бор пошеве-

лил пальцами в лубке. — А врёт он в одном месте. Не врёт, недоговаривает. «Потом я боялся не кордона». Там человек. Баба, скорей всего.

— Почему баба?

— Мужика так не боятся. Мужика боятся громче.

— Проверить сможешь?

— Плёс проверю: у меня на Дровяной пристани шкипера, завтра к вечеру буду знать, есть там такой переписчик и сколько лет. Палату проверю, восемьдесят шестой год: в околотке должна быть книга нарядов. Гельт не проверю. Туда у меня никого.

— Адель.

— Юридически он прав. Я читала устав о вычеркнутых местах, когда меня… когда разбирали мой случай. Искали, нельзя ли вычеркнуть угол Академии, чтобы не чинить, — она не улыбнулась. — Статья одиннадцатая существует. Срок трижды шесть. Предъявляет голова, лично, коронному приставу. Про жителей там действительно ни слова.

— А по твоей части?

— По моей части есть шкатулка, которая восемнадцать лет назад три дня пролежала под старым камнем, а вчера вернулась в тот же дом. И в ней за ночь появилась записка. Я хочу знать, что будет, если её поставить рядом с иглой возле арки. Но это не довод. Это любопытство.

— У тебя это одно и то же.

— Да. Я над этим работаю.

— Никс.

Он всё ещё сидел на скамье для клиентов. С неё действительно хорошо видно дверь.

— Берём, — сказал Никс.

— Почему?

— А вы не берёте? Сто арок.

— Я спросил, почему берёшь ты.

Он почесал переносицу, сломанную и сросшуюся налево.

— Хочу посмотреть, как он туда войдёт. В ворота, или что там у них. Что ему скажут, — он подумал. — И потом. Вы меня как записали? «Специалист по доступу в труднодоступные помещения». Ну вот. Города, которого нет, труднее не бывает. Если я туда не полезу, то какой я специалист.

— Ты не судья ему.

— Я и не сужу. Я смотрю.

— И не трогаешь.

— Вельд. Я три недели в этом доме. Я хоть что-нибудь тронул?

— Колбасу.

— Колбасу тронул Плюх!

Бор хмыкнул. Стало можно дышать.

— Тогда моё, — сказал я. — Клиент недоговаривает. Заказ пахнет Соляной палатой, а с ней я не судился даже во сне. Платит он слишком легко. По всем трём пунктам брат повесил бы это вот сюда. — Я показал на шестой гвоздь. — С другой стороны, записка. Вторая за месяц, того же сорта,

с тем же песком. Первая привела нас на Мызу, и на Мызе оказалась дверь, которую некому было закрыть, кроме меня.

— Про дверь я знаю, — произнес Никс. — Я вам клинья забивал. А про «того же сорта» не знаю. Вы трое всю дорогу от Вязеля переглядывались, как на поминках, когда делят ложки.

Он был прав. Бор слышал у кареты половину. Адель знала всё. Никсу не сказали ничего: сперва было некогда, потом неловко, потом он мёл комнату.

Я рассказал. Коротко: берег, двенадцать арок, покойник, который ушёл по песку сам. И человек под ближней аркой, седой, на привязи в двадцать шагов, с бронзой на поясе.

— Гай, — сказал я. — Мой брат. Он жив. Или то, что там вместо «жив». Он сказал: домой, а потом что принесут к вывеске. Сам не ищи.

Никс слушал, приоткрыв рот. Когда я закончил, он посмотрел на потолок, на меня и опять на потолок.

— То есть нас нанимает ваш брат.

— Не знаю.

— Через покойников и писарей. Подкладывает им бумажки, они идут сюда. А платит кто?

— Клиенты.

— Удобно, — произнес Никс с уважением. — Это ж какая контора: заказчик один, а платят все остальные. Дядя Мох бы удавился.

— Живой, значит, — кивнул Бор.

— На привязи.

— Привязь не могила. С привязи снимают.

Он сказал это просто, как про собаку во дворе. Я не нашёлся, что ответить, и взял обрезок.

Шесть гвоздей. «Обычное», «Сложное», «Очень сложное», «Опасное». Под шестым жёлтые записки и одна моя, вчерашняя. Пятый был пустой. Он был пустой при брате, судя по тому, что вокруг шляпки ни одной дырки от прежних бумажек: за восемь лет Гай не повесил туда ничего. Или не успел.

Я наколол обрезок под «БЕЗУМНОЕ».

— Очки будут послезавтра, — произнесла Адель. Она стояла рядом и глядела на доску, а не на меня. — Оптик обещал к вечеру второго. Соль я куплю завтра, шесть арок, у Бреккера на Соляном рынке, с печатью. Выезд третьего.

— Да.

— Тогда наверх мы до отъезда не пойдём.

Я ждал этого. Ключ лежал у неё в кармане юбки вторые сутки.

— В ту комнату нельзя зайти между оптиком и возком, — сказала она. — Там стол с бумагами, которые никто не читал пять лет. Двенадцать бирок. Рама. Мне нужна неделя, целые глаза и полный запас. И ты, не спавший по три часа и не с обожжённой рукой. Вернёмся — пойдём. Ключ едет со мной.

— Это мера предосторожности?

— Это порядок работы.

Мне стало легче. И тут же сделалось стыдно, что легче: я три месяца не пускал её наверх, а теперь, когда она сама отложила, обрадовался, как школьник отменённому уроку. Адель, по-моему, это видела. Она вообще стала видеть больше, чем мне было удобно.

— Вельд, — произнес Никс со скамьи. — А спать он где будет? Писарь.

— В кладовой.

— Это через стенку от меня.

— Через две. Между вами лестница.

— Я с ним на одном этаже…

— Ты с ним шесть недель в одном возке. Привыкай с лестницы.

Он встал, подобрал веник и пошёл дометать. Мёл он зло, от стены, и пыль летела в камин.

* * *

Наутро, тридцатого, мы разошлись в три стороны. Бор на Дровяную пристань, к шкиперам. Адель на Соляной рынок, с шестью арками и списком. Я с Никсом в красильную слободу: я обещал ему это ещё на тракте, под Вязелем, и вписал себе в долги.

Красильни стоят ниже Нижнего моста, там, где город уже не стыдится того, что льёт в реку. Сойма в этом месте течёт тремя полосами: у нашего берега бурая, от дубовой коры, посередине синяя, у дальнего жёлтая. К Керну, говорят, всё

смешивается обратно в серое.

По дороге Никс объяснял мне кассу. Объяснял на ходу, перепрыгивая лужи, и руками показывал больше, чем словами. Каждый вычеркнутый, у кого есть заработок, несёт Берте петлю в неделю. Из этого платят повитухе, потому что цеховая к безымянным не пойдёт. Платят могильщику за яму на краю, без расчёта и без камня. Выкупают из околотка тех, кого взяли в первый раз: во второй не выкупают, это правило. Берта ведёт тетрадь, потому что иначе через год никто не вспомнит, что Хромая Анна и Анна-прачка — два разных человека. В тетради у каждого две строки: как зовут здесь и как звали там.

— А у тебя?

— А у меня одна. Меня там никак не звали, я не помню.

Тётка Берта оказалась женщиной в полтора Бора шириной, в кожаном фартуке, с руками, синими по локоть. Синева была старая, въевшаяся, с прозеленью у ногтей. Она стояла над чаном и мешала в нём веслом.

— Веник видишь? — сказала она Никсу вместо «здравствуй». — Вон, у двери. Он тебя помнит.

— Я по делу, тётка Берта.

— В прошлый раз ты тоже был по делу. Пришёл и говорит: тебя, мол, обнести хотят, перепрячь тетрадь. Я его веником, — пояснила она мне. — А к вечеру села и подумала. Перепрятала. Это кто?

— Вельд. Я у него служу.

— Слыхала. Бюро, — она оглядела мою руку в тряпице, нос, который ещё не решил, каким ему быть после локтя Холла, и вернулась к чану. — Это вы покойника из Вязеля привезли? Про вас на мосту говорят. Одни говорят: украли. Другие: похоронили. Вы уж сами решите.

— Мы доставили. Никс сказал, вашу тетрадь заказывали.

— Заказывали. В Седьмом месяце, через Мха. Он, — кивок на Никса. — Отказался, и на том спасибо. А в Девятом пришёл сам. Не Мох, другой. Хорошее сукно, перстень, говорит мягко, слова тянет по-тесски. Сказал, что от благотворителей. Что хотят помогать вычеркнутым, да не знают кому, и не продам ли я список. Давал сорок арок.

— А вы?

— А я спросила, чем красить. Он не понял. Я говорю: благотворителей чем красить, синим или в крапинку? У меня красильня. Списков не держу.

Никс фыркнул.

— И всё?

— Не всё, — Весло остановилось. — На той неделе был третий. Этот без перстня. Серое сукно, по вороту жёлтый кант, сапоги казённые. Этот тетрадь не спрашивал. Спрашивал людей. Кого, говорит, вывезли из Гельта малыми детьми, зимой восемьдесят седьмого, и кто из них жив.

— Детьми, — повторил я.

— Малыми. Он так и сказал: до пяти лет. Я говорю: у меня красильня, не приют. Он постоял, поглядел на чаны и ушёл.

Вежливый. Таких вежливых я боюсь больше, чем тех, что с перстнем.

Серое с жёлтым кантом. Вчера я слышал про этот кант от человека, которого в нём возили поперёк седла.

— Сколько их у вас? — спросил я. — Вывезенных детьми.

— Одиннадцать. Зима была голодная, кордон только встал, и кто мог, совал малых обозникам: вези куда хочешь, только отсюда. Восьмерых довезли до родни. Троих довезли до никого, — она посмотрела на Никса. — Этот третий по счёту.

Никс разглядывал чан.

— Тетрадь-то где? — спросил он. — Цела?

— Расшила, — Берта усмехнулась, показав крепкие жёлтые зубы. — По листу. Тридцать восемь листов, сорок два чана, под каждым чаном доска с двойным дном. Кому надо, пусть ныряет. А на полке у меня лежит другая, в той же обложке. Мне её Кривая Лотта переписала, у неё почерк как у курицы, не разберёшь. Там триста душ, и все покойники: я их с кладбищенской доски списала. Пусть ищут.

Я засмеялся. Ехал я сюда давать совет, как прятать, и вёз этот самый совет.

— Тогда я вам не нужен.

— По тетради не нужны, — она вытянула весло, положила поперёк чана. — А вот сядьте-ка. Малый сказал, вы в Гельт.

— Малый много говорит.

— Он с четырёх лет много говорит. Правда, едете?

Я не ответил. Никс покраснел ушами.

— Ну, едете, — заключила Берта. — Тогда слушайте. У меня триста душ. Восемнадцать лет ни один не послал домой ни слова: почта на Гельт не берёт, обозники не ходят, а кто ходит тайно, тот берёт арку за письмо и врёт, что донёс. У Хромой Анны там мать. У красильщика Юста трое братьев. У меня самой сестра, если жива, — она вытерла руки о фартук, хотя синему на них было всё равно. — Возьмите письма.

— Сколько?

— К третьему числу напишут сотни две. Кто сам не умеет, тем Лотта.

— С её почерком?

— Я велю, чтоб старалась.

Я прикинул. Две сотни листков, сложенных вчетверо, это фунта три с половиной, и это мешок, который на заставе не выдашь за смену белья. Письма в место, куда почта не принимает, по закону и не письма вовсе, а неизвестно что. Мерщик, который их найдёт, первым делом спросит, уплачен ли сбор.

— Обычное поручение у нас от пяти арок, — сказал я.

— У нас касса, а не банк. Петля с письма.

— Двести петель. Шестнадцать створок и восемь петель.

— Считаете быстро.

— Это всё, что я умею. — Я посмотрел на Никса. Он глядел на меня так, как, наверное, глядел в четыре года на яблоки. — Пять арок я с вас не возьму. Возьму петлю с письма,

и не за письмо, а за доставленное. Что не вручим, привезём назад, и петлю вернём. Расписку напишу сейчас, остальное по счёту третьего числа.

— А если адресат помер?

— Тогда вручим тому, кто его хоронил.

Берта подумала и протянула мне синюю руку. Пожатие у неё было как у грузчика.

— Малый, — произнесла она, не отпуская моей ладони. Левой, здоровой: правую я берёг. — Раз ты всё равно здесь. Твой лист под одиннадцатым чаном. Четвёртая страница. Там про тебя записано, кто привёз, когда и что при тебе было. Ты в одиннадцать лет приходил спрашивать, я сказала: вырастешь, прочту. Вырос. Читать?

Никс молчал. Было слышно, как в чане лопаются пузыри.

— Не надо, — покачал он головой.

— Чего так?

— А зачем? Я знаю, что там. «Никс, вор, должен кассе четыре петли».

— Шесть.

— Шесть, — он сунул руки в карманы. — У кого есть откуда, тётка Берта, тому есть куда возвращаться. А мне некуда. Ну и пусть лежит под чаном. Целее будет.

Она глянула на меня. Я пожал плечами: не мой лист.

В реестре это легло номером двести девятнадцатым. «Доставить письма числом по счёту от кассы красильной слободы адресатам в городе Гельте; недоставленные вернуть».

Я наколол обрезок под «ОБЫЧНОЕ», через три гвоздя от «БЕЗУМНОГО». Бор, вернувшись, долго смотрел на эти две бумажки и сказал, что за двадцать шесть лет службы не видел, чтобы один и тот же город висел сразу под двумя вывесками.

* * *

Днём я застал клиента на кухне.

Он сидел за столом, подложив под локоть сложенное полотенце, и писал. Перо было моё, запасное, из стакана на подоконнике; бумага своя, из клеёнчатого бумажника. Манжеты сюртука он успел застирать и повесил сушиться на печную заслонку, а рукава рубахи подвернул ровно на три оборота каждый. Перед ним стояла Аделина чернильница, которую из кабинета выносить запрещалось.

— Госпожа Рейн разрешила, — произнес он, не поднимая головы. — Она спрашивала точную редакцию одиннадцатой статьи. Я пишу по памяти, но за память ручаюсь: устав о вычеркнутых местах я переписывал для Плёсской управы четыре раза, и каждый раз бесплатно.

Писал он медленно и страшно ровно. Буква вставала рядом с буквой, как встают в строй, и между словами он оставлял одинаковые промежутки, будто мерил их ногтем. На полях не было ни одной помарки. Я подумал, что человек, который пишет так, должен был очень хорошо понимать, что именно выводит пятого числа Двенадцатого месяца и что почерк у него в тот день, скорее всего, был такой же.

Под полкой с реестрами, на полу, сидел Плюх. Он сидел там с утра. Шерсть на загривке у него стояла дыбом, а смотрел он вверх, на шкатулку, и время от времени переступал передними лапами, как кот у закрытой двери.

— Я пробовал его отогнать, — сообщил Тарн. — Линейкой. Он посмотрел на линейку и остался. С вашего позволения, господин Вельд: что он ест?

— Колбасу. Чужую.

— А бумагу?

— До сих пор не ел.

— Это утешает меньше, чем вы думаете.

Он дописал строку, посыпал песком из моей песочницы, сдул и только после этого поднял глаза.

— У вас на вывеске, — произнес он. — В слове «невозможных» облезла вторая «н». С улицы читается «невозможых». Я полагаю, красить вы будете всё равно. Но если маляр спросит, сколько там букв, скажите: одиннадцать. Маляры обычно не знают.

* * *

К Дяде Мху пошли в сумерках. Никс хотел один. Я сказал, что он у меня в книге расходов, а за статьями расходов я хожу сам.

Артель «Тихие руки» квартирует в старой коптильне на Рыбном спуске. Снаружи это сарай без окон, внутри тепло, темно и до сих пор пахнет копчёным лещом, хотя леща тут не коптили лет тридцать. Вдоль стен сидели люди и играли

в кости, не поднимая глаз. Глаз они не поднимали так старательно, что я чувствовал их на своих карманах.

Посреди, на вытертом ковре, двое мальчишек лет по десяти учились на чучеле: чучело висело на верёвке, обшитое бубенцами, и надо было вынуть у него из-за пазухи платок, чтобы ни один не звякнул. Звякало через раз. Никс покосился на чучело, как смотрят на старый букварь.

У печи, на низкой скамейке, сидел старик и вязал чулок.

Я ожидал другого. За три недели я наслушался про Дядю Мха столько, что приготовился к человеку вроде Холла, только умнее. Этот был маленький, мягкий, в вязаной безрукавке, с бородой того серо-зелёного цвета, какой бывает у камней на северной стороне. Спицы у него в пальцах ходили сами. Он считал петли, шевеля губами, и не сбился, когда мы подошли.

— Вельд-младший, — сказал он. — Садитесь, не стойте над душой. Малый, ты тоже. Сорок две, сорок три… Щегол! Дай людям скамью.

Из угла вышел Щегол. Выбритый, сытый, в целой рубахе. Левую руку без мизинца он держал за поясом. Скамью он поставил молча, а мне кивнул так, как кивают человеку, которому должны и помнят об этом.

— Ваш брат у меня людей нанимал, — сказал Мох. — Раза четыре. Платил вперёд и не торговался. Вы, говорят, тоже вперёд берёте. Это правильно. Кто берёт после, тот берёт меньше.

— Я пришёл про двенадцать арок.

— Выходная доля. Устав, статья шестая: кто уходит своей волей, платит артели за науку. Срок тебе до Лишней недели. Принесёшь — и ты мне никто. Иди куда хочешь, руки пожму. Не принесёшь — будет двадцать четыре, и уже не деньгами.

— Я могу внести за него, — сказал я. — Сейчас.

— Не можете. Выходит он, а не вы. Своими, заработанными, не в долг. Иначе получится, что вы его у меня купили, а я людей не продаю, — он подумал и добавил: — Покупать случалось.

Никс дёрнулся.

— До Лишней недели я не вернусь. Может быть.

— Знаю. В Гельт едешь. С писарем.

Я не спросил, откуда. Утром Никс сказал Берте, от Берты до коптильни по прямой четыре улицы.

— Тогда вот что, — сказал Мох, и спицы у него остановились в первый раз. — На вашу шкатулку, Вельд, с сегодняшнего утра цена. Пятьдесят арок тесской монетой тому, кто принесёт её запертой. Ко мне приходили. Я не взял. Мы с вашей конторой в расчёте: вы мне Щегла вернули, а за Щегла я брал тесские деньги и молчал, это на мне. Теперь не на мне.

— Кто взял?

— Заречные. Я в городе не один старшина. У них с весны девчонка, не здешняя, из Тесса. Работает чисто, говорят, чище моих. Кличут Сойкой, — он снова стал вязать. — Вам

три ночи до выезда. Я бы на вашем месте шкатулку под подушку не клал. Под подушкой она ищет в первую очередь.

— Благодарю.

— Не за что. Это не услуга, это расчёт. Пятьдесят одна, пятьдесят две…

Никс поднялся. Я тоже. Мы были уже у двери, когда Мох сказал, не повышая голоса:

— Малый. Раз уж едешь.

Никс обернулся.

— Я за тебя две арки дал. Зимой восемьдесят седьмого. Привёз тебя человек с востока, кривой, одно плечо выше другого. Сказал: малец из Гельта, в Ортене у него должна быть родня, да родни не сыскалось, а назад ему с ребёнком хода нет. Просил три. Я дал две, потому что ты был сопливый и орал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.